

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

МОСКВА ПРАЗДНИЧНАЯ

ТЕАТР

*Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шаркать по паркетам.*

А. А. Григорьев

Главенствующее положение среди “мест отдохновения” в Москве занимал театр. “Сядьте в московский трамвай — вагон наполнен театральными разговорами, — писал в 1914 году журналист Н. Н. Вильде. — Мы заполнены театром всех видов и направлений. Rapem et circenses! (Хлеба и зрелищ! — лат.). Только мы жаждем не дарового хлеба и зрелищ, как римская толпа, а оплачиваем их дорогой ценой”.

В дореволюционные годы в Москве действовали два императорских театра (то есть финансируемых из казны и управляемых чиновниками): Большой и Малый, а также несколько частных. Они начинали работу в конце августа, а завершали в апреле. В течение первой, четвертой и седьмой недель Великого поста театры представлений не давали, так как закон запрещал русским труппам показывать спектакли в это время. Разрешались к публичному исполнению духовные песнопения и драма религиозного содержания “Царь Иудейский”, автором которой был великий князь Константин Константинович.

Вместо русских актёров на сцены выходили иностранные гастролёры, поэтому выражение “постная итальянская опера” следует понимать в прямом смысле: выступление итальянских артистов во время поста.

О репертуаре московских театров в 1901 году шутивно писал журнал “Искры”:

“В Большом и Малом — археология, в Новом — ничего нового. У Станиславского с Немировичем — декадентщина; в Частной опере, сказывали, точно — поют. Интернациональный театр — один скрежет зубовой”.

Более конкретно о пьесах, пользовавшихся популярностью среди московской публики в 1910-е годы, поведал в мемуарах литератор и театральный деятель И. И. Шнейдер:

“В театрах Сабурова давали фарсы с обязательным раздеванием и беготней в одном нижнем белье по сцене. Со сцены не сходили “Тётка Чарлея” и “Хорошо сшитый фрак”. У Незлобина шла сексуальная пьеса Осипа Дымова “Ню” и делали полные сборы “Псиша” Юрия Беляева и “Орлёнок” Ростана, где в роли герцога Рейхштадского выступал актёр Лихачёв, ставший фаворитом обывательской Москвы.

— Куда? — кричал денди, встретив на Кузнецком приятеля.

— “Мне двадцать лет, и ждёт меня”... корова!.. — отвечал приятель, подражая Лихачёву, пародируя ростановскую реплику и спеша на свидание”.

Конечно, не стоит забывать, что на этот период приходился расцвет Московского художественного театра, в Большом потрясали своим искусством Ф. И. Шляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова и многие другие замечательные артисты. Однако мы позволим себе оставить в стороне разбор художественного содержания спектаклей того времени – на эту тему существуют специальные работы искусствоведов, – а сосредоточимся на рассмотрении роли театра в бытовой стороне жизни Москвы, тем более что театральные сезоны были одним из основных в жизненном цикле города.

Первым открывал зрителям двери театр Ф. А. Корша. В 1901 году он начал сезон премьерой спектакля “Генеральша Матрёна”. Вот оставленное современником описание некоторых бытовых сцен, связанных с этим событием:

– Видишь вывеску, – говорит какой-то кругленький господин в енотовой шубе и в бобровой шапке, указывая приятелю на аншлаги.

– Какую вывеску?

– А вон у кассы-то... “Билеты все проданы” – обозначено тут. Хорошо торгует Фёдор Адамович, без убытка, можно сказать.

– Да, торгует за первый сорт!

– То-то и есть... Хорошо, что предварительно билеты взяли, а то и не попали бы сегодня. А всё я... Я знаю, как тут торговля идёт, ну, и запасся. В среду ещё взял, вот оно и весело... А каково вот этим, которые оглобли назад должны ворочать! Скучно, поди!.. Одевался человек, послеобеденный сон свой не вовремя прервал, чаю дома не пил, ехал, может, из Рогожской или с Разгуляя откуда-нибудь, и вдруг – такой афронт неприятный... .

Таких очень много. Иной разлетится к кассе и, увидав аншлаг, даже ахнет. Аншлаг, впрочем, его не останавливает, и он протискивается к кассе, где продают билеты на следующий день.

– Никаких билетов нет сегодня?

Утомлённый кассир молча показывает на аншлаг.

– Может, какой-нибудь есть, хоть один?..

Кассир только плечами пожимает.

– А вы поищите, милостивый государь!.. Может, какой и найдётся. Бывает, что захворает человек либо какая-нибудь домашняя история выйдет, ну, и вернёт билет... .

Кассир хранит гробовое молчание.

– Так ничего нет?

– Да ничего нет, ничего! – с тоскою восклицает кассир, которого терзают подобными вопросами с утра до позднего вечера”.

Аншлаг больно ударил и по любителям посещать спектакли на дармовщину. Некий Ванька Белые Усы жаловался приятелям:

“Намедни зашёл к Коршу, так принуждён был в проходе стоять, так как не только дарового места не было, а и за деньги не нашлось ни одного свободного... Я ведь в театры за вход никогда не плачу, у меня и антрепренёры приятели, и кассиры, и капельдинеры даже, и контрамарки не беру, а так вхожу и сажусь, где свободное место... .”

Москвичи, не имевшие столь обширных знакомств в театральном мире, поступали обычным порядком: покупали билеты. Чтобы попасть, например, на спектакль Большого театра, очередь в кассу традиционно приходилось занимать задолго до рассвета. Тем, кому не хотелось тратить время на многочасовое ожидание, всегда были готовы прийти на помощь “барышники” – спекулянты билетами.

В начале XX столетия билетами за двойную цену торговали “красные шапки” – рассыльные, дежурившие возле театрального подъезда. Современник отмечал, что возле Художественного театра “барышников” не было, поскольку подпольная торговля билетами была сосредоточена в находившейся рядом овощной лавке. Со временем в Москве появились профессиональные “барышники”, которых называли “якупчиками” и “жужжалками”. В 1914 году газета “Голос Москвы” писала о них:

“Якупчики” – аристократия барышников. Они так называются по имени главного барышника.

“Жужжалки” – парии. Это те несчастные, которые дрогнут на морозе день и ночь и с таинственным видом предлагают проходящим мимо театра:

– Вам билетик на сегодня? Или на бенефис?

Они же стоят в очереди у кассы. Если тот, которому предлагают, враг барышничества и вздумает позвать городского, чтобы отправить предлагавшего

в участок, то из этого ровно ничего не выйдет: при обыске у “жужжалки” никаких билетов не найдут.

Если же проходящий пожелает получить билет, то “жужжалка” ведёт его в Охотный ряд или куда-нибудь под ворота и просит ждать, а сам бежит в трактир “Лондон” и вызывает оттуда “якупчика”, приводит его под ворота, где и происходит продажа билета.

“Якупчик”, наживший сумму на продаже билета, даёт несколько копеек за комиссию “жужжалке”, который только этими грошами и питается.

“Барышников” в Москве более ста. Они почти все известны полиции, которая, впрочем, ограничивается только составлением протоколов, передающихся мировому судье Лубянского участка. Судья их штрафует крупно, но “барышникам” штрафы нипочём:

– Недорого! – говорят и платят штрафы с огромных барышей.

“Жужжалки” отсиживают, но они попадают редко.

Недавно судили одного из крупных “барышников” за оскорбление городского посту. Мировой судья приговорил его к штрафу в 20 рублей. “Барышник” тут же вынул толстый бумажник и спросил судью:

– Позвольте уплатить сейчас?

Но судья не принял штрафа, пока приговор не войдёт в законную силу. А к этому времени “якупчик” наторгует сотни рублей и готовится новый штраф. Так благоденствуют в Москве театральные “барышники”.

Несколько раз власти пытались пресечь спекуляцию театральными билетами. В 1910 году с этой целью были привлечены агенты сысской полиции. После трёх месяцев наблюдений они выявили всех “барышников” (около 50 человек) и вскрыли их систему конспирации. Полученные сведения позволили полиции арестовать главаря спекулянтов – “клинского мещанина” Ш. У. Якубчика, носившего кличку Король и считавшего себя абсолютным неуязвимым. Во время обыска у него на квартире были обнаружены бумаги, из которых стало известно, что месячный доход главного “барышника” достигал порой свыше полутора тысяч рублей, а в год он “зарабатывал” 10–15 тысяч.

На суде выяснилось, что некоторые соратники Якубчика “кормились” возле касс Большого театра не один десяток лет. Кто-то из них уже по два-по три раза предстал перед мировым судьей, но отделывался штрафами от 15 до 45 рублей. “Жужжалкам”, не имевшим средств для уплаты штрафов, приходилось отбывать арест. Посадку “в казённый дом” они оттягивали всеми правдами и неправдами до лета – до окончания театрального сезона.

Несмотря на операцию, блестяще проведённую сысской полицией, спекулянты продолжали своё малопочтенное, но доходное занятие. Об этом свидетельствует изданный в начале 1914 года приказ градоначальника Адрианова. Чтобы не допускать барышничества, приставу 3-го участка Тверской части предписывалось “назначать на дежурство под колонны Большого театра ежедневно отличённых наибольшим доверием начальства городских 1-го разряда”.

По старой московской традиции выход в театр, кроме желания насладиться зрелищем, был связан со стремлением “себя показать”. Появление на людях позволяло дамам блеснуть новыми туалетами и драгоценностями, при этом любое отступление от общепринятых норм подвергалось осуждению. Городской хроникёр как-то отметил забавный случай, произошедший в Большом театре: “декадентствующая дама” появилась на людях в платье с громадными вырезами спереди и сзади, напудренная “во вкусе маркиз Людовика XV”, да ещё в парике соломенно-жёлтого цвета. “За бедной дамой ходили буквально, как за белым слоном, – сообщал репортёр, – забегали вперёд, заглядывали, фыркали чуть не в лицо...”

Описание публики, столетие назад собравшейся на премьеру в Интернациональном театре, оставил нам фельетонист газеты “Русское слово”:

“Налицо, конечно, “вся Москва”...”

Правильнее: сливки “всей Москвы”, *fine fleur* (самое лучшее – фр.) “всей Москвы”: лорд Косорылов с Маросейки, мистер Персиков, эсквайр, с Тверской-Ямской, лэди Белотелова с Таганки, баронет Попрыгунчиков-fils (сын – фр.) с Воздвиженки... *et cetera, et cetera...* (и прочее, и так далее – лат.).

В бельэтаже – обычный “цветник”: дамские туалеты способны помрачить рассудок обыкновенного смертного, бриллианты, “доводящие ум до восторга”, – ослепить своим блеском...

В партере — “фрачная” молодёжь, краса и гордость Белокаменной, в амфитеатре — пиджачная интеллигенция...

И так из года в год — каждый сезон! [...]

В антракте — “causerie mondaine” (светский разговор — фр.).

— Знаете ли, эти нюансы... неуловимые нюансы, — тянет баронет Попрыгунчиков-fils, соблазнительно изгибая торс перед миссис Персиковой, — чисто парижская манера оттенять эти неуловимые нюансы... Когда я был в Париже... Chez nous a Paris... так вот, в “Moulin rouge”...

— О! Это несомненно! Манера играть — это... это... — говорит миссис Персикова и думает: “А всё же до итальянца тебе далеко — не тот коленкор, как ни изгибайся”.

Стоит упомянуть, что столетие назад как буфеты, так и гардеробные театров находились в аренде у частных лиц. Сдать на хранение верхнюю одежду стоило 20 копеек. Буфеты также отличались высокими ценами.

В своих мемуарах Н. А. Варенцов упоминал о знакомом купце-миллионере, который предпочитал в театр приносить яблоки с собой, а не платить за них втридорога.

Феерическим зрелищем был разъезд зрителей после окончания спектакля. Чтобы хоть как-то упорядочить мешанину из экипажей и автомобилей возле выхода из театра, каждый раз назначали специальный наряд полиции во главе с офицером. Здесь же дежурили специальные посыльные, которые за небольшое вознаграждение разыскивали нужный экипаж и передавали кучеру приказ хозяев “подавать” к подъезду.

Блюстителям порядка, дежурившим возле Большого и Малого театров, заодно было приказано следить за тем, чтобы возле подъездов находились торговцы афишами, имевшие фуражки и бляхи с надписью: “афишёр типографии Императорских московских театров”. “Зазывал” в другие театры полагалось “привлекать к законной ответственности”.

Забота о привлечении зрителей, особенно в частных театрах, существовавших как коммерческие предприятия, заставляла антрепренёров как можно чаще обновлять репертуар. Так, в театре Корша премьеры происходили каждую неделю. Если пьеса пользовалась успехом у зрителей, её оставляли в репертуаре, если проваливалась, быстро заменяли новой. Театральные спектакли, поставленные на поток, сто лет назад породили явление, отмеченное Н. Н. Вильде:

“Безголодых и безъязычных с аттестациями актёров развелось невероятное количество на этой расширившейся “театральной площади”; драматурги и композиторы почти совершенно разучились трогать сердце, они стали заботиться только о возбуждении любопытства, часто самого грубого, вроде того большого дивана в пьесе Арцыбашева, который служит таким притяжением публики, и таких разговоров в этой же пьесе, которые было бы стыдно произносить актрисам былых времён и которые, кажется, уже не стесняют современных. Слово “страсть”, которое от начала театра играло такую же роль в трагедиях, драмах, заменилось словом “похоть”, и слова “я вас люблю” заменились словами “я вас хочу”. В туалетах стал преобладать газ, прикрывающий дам, как будто ещё не вышедших из ванной комнаты.

Очень выросло искусство организации театральных успехов. Поначалу ещё бывали ошибки. В одном оперном театре стали вызывать драматических актёров, а в драматическом — примадонну и тенора. Но это ещё были только дебюты клакеров. Теперь всё благоустроилось в этой области. Сцена стала заполняться цветами. Причём корзины цветов подносятся на глазах публики даже актрисам, лепечущим “папу-маму”.

Уж если даже посредственности обретали своих поклонников, то что говорить об истинных талантах. Например, Шаляпина и Собинова осаждали целые группы экзальтированных поклонниц. Их споры о достоинствах кумиров нередко заканчивались, на потеху публике, настоящими потасовками. Литературовед К. Г. Локс вспоминал, как ему пришлось какое-то время пожить в семействе ярых “собинисток”:

“Вся столовая была заставлена, увешана портретами, открытками, изображениями, фотографиями великого тенора. На одной, стоявшей особо на жирандоли, виднелся автограф. Возле этой фотографии всегда стоял букет цветов. Началось несказанное существование. Я знал о Собинове всё, чего он даже сам не знал о себе. Мне было известно, когда он принимает слабительное и каким шарфом закутывает горло. Но привычка делает своё дело.

Скоро Собинов казался мне членом семьи, и я внимал рассказам о нём, как чему-то неизбежному, неотвратимому и роковому”.

Особое место среди “храмов искусства” занимал театр Шарля Омона, считавшийся в начале прошлого столетия весьма специфической московской достопримечательностью. Омон (подлинная фамилия Саломон) появился в Москве в 1891 году как участник французской выставки. Устроенные им представления имели успех, и он открыл постоянный театр в Камергерском переулке.

“Театр в Камергерском не раз менял названия: театр Омона, “Зимний театр Буфф”, театр “Водевиль-концерт”, – писала Е. Д. Уварова в монографии, посвящённой истории российской эстрады. – В зрительном зале шли и спектакли, и дивертисментные программы с семи часов вечера до 11 часов 30 минут; ресторан с концертной программой и кабинеты работали до четырёх часов утра. Вечер состоял из трёх частей: злободневного обозрения, водевиля или оперетты; дивертисмента преимущественно с заграничными номерами; ресторана. Артистки не имели права уходить раньше четырёх и по приглашению метрдотеля обязаны подниматься в ресторан и кабинеты. Среди посетителей, в основном, купечество, “именитое и замоскворецкое”, военные из Петербурга и провинции, адвокаты, артисты, художники...”

Омон платил артистам хорошие деньги (например, молодой балетмейстер Ф. Л. Нежинский получал 1000 руб. в месяц), но требовал взамен неукоснительного выполнения установленных им правил. Нарушителей наказывали серьёзными штрафами. Приведённые Е. Д. Уваровой сведения позволяют сделать вывод, что представления в театре Омона отличались прекрасным подбором исполнителей, как иностранных, так и российских, и проходили на высоком профессиональном уровне.

Однако следует отметить, что, по свидетельствам современников, в заведение пресловутого француза публику, в большинстве своём, привлекала возможность увидеть номера “каскадного жанра” в исполнении танцовщиц, затянутых в трико. Не меньшим успехом пользовались песенки и куплеты фривольного содержания. Достаточно сказать, что именно Омон первым потчевал москвичей “танцем живота”, публичная демонстрация которого была сразу же запрещена полицией. Впрочем, в отдельных кабинетах по заказам “гурманов” его всё же исполняли.

Своеобразную атмосферу, царившую в “театре” Омона, описал в 1900 году фельетонист газеты “Русское слово”:

“Длинная душная зала. Облака табачного дыма и крепкий запах винного перегара. Шум, гам, крики... Инде скандалы, инде мордобития, масса пьяных “кавалеров” и туча “этих дам” – вот вам первое впечатление “театра” господина Омона!

Называется “заведение” театром “Фарс”, и действительно, для “сокрытия следов преступления” здесь даются на сцене скабрёзные фарсы, но это только вначале.

После третьего акта начинается особое представление!

При благосклонном участии публики и милых, но погибших созданий...

Буфет – эта альфа и омега “театра”, – торгует на диво! Наглотавшись вдвоём спирта, с возбуждёнными, красными лицами, с животным выражением в глазах сидит эта публика и с жадностью слушает необыкновенно сальные куплеты, которые ей докладывает со сцены какой-то тощий, черномазый жидок...

Сального жидка сменяет полуголая женщина, за ней другая, третья – целый ряд... На всех языках здесь поётся и докладывается то, что шевелит в человеке дурные страсти, разжигает его похоть...

Это концертное отделение.

Оглянитесь, посмотрите, сколько здесь юношей среди этой публики; молодые, безусые лица, но истомлённые, бледные, с явной печатью порока...

Это завсегдатаи, “обомоновшиеся” молодые люди!

Здесь же масса женщин... Не будем лучше говорить об этих несчастных – я не хочу намеренно сгущать краски...

Третий час ночи.

“Торговля” в полном разгаре... Общая зала с бесконечными столиками – это “Бедлам”!

Тощие звуки дамского оркестра тонут в хаосе звуков – пьяных криков, ругани... В воздухе висит такой букет винного перегара, что трезвый человек может запьянеть от одного этого воздуха...

И здесь опять женщины — они сидят за столами, группами ходят между ними, загораживают вам дорогу в проходах...

Но главная торговля наверху — там кабинеты...

Не буду смущать воображение читателя тем, что делается в этих кабинетах...

Немало здесь прожжено растроченных денег, немало впрыснуто преступных сделок...

Стены этих кабинетов пропитаны позором, развратом и...

Здесь все позволено — давай только денег, больше денег!

И здесь замечаются прямо-таки странные вещи: например, ещё недавно накануне праздников закрыты были все театры — нельзя было наслаждаться облагораживающим душу зрелищем в это время... "Театр" господина Омона всегда открыт...

В церквах ещё не кончилась всенощная, а здесь уже культивируется разврат в полной мере..."

В качестве меры борьбы с гнездом порока автор фельетона предложил по примеру известного рода заведений удалить этот "театр" за пределы города. В ответ Омон выступил с резким опровержением, хотел даже подавать в суд, но до этого как-то не дошло. А год спустя ему пришлось прочесть о себе в прессе такие строки:

*Как Репетилов, он неизлечим, хоть брось!
С приличием, с искусством вечно врозь;
В буфетах — шум, на сцене — сало...
Не будь его — в Москве бы потишало.*

Об особой атмосфере "театра" Омона, о её пагубном воздействии на неокрепшую молодую душу П. Иванов писал в книге "Студенты в Москве". Герой одного из очерков в поисках радости стал частенько заходить к Омону, познакомился с певичками, научился кутить и в результате, забыв обо всех науках, превратился в простого прожигателя жизни:

"Дело началось с пустяков. Зашёл как-то товарищ и предложил для разнообразия отправиться к Омону. Кстати, у Омона любезно предлагались студентам билеты, оставшиеся непроданными..."

Роскошные женщины со всего света — несравненные красавицы, их ослепительные туалеты, свободные телодвижения очень подействовали на впечатлительного Вознесенского... Он с товарищем остались после представления ужинать в общей зале. Рядом за столиком сидела испанка — la belle Алейта; она два раза метнула в Вознесенского большими, чёрными, искромётными глазами... Нервно вздрагивал венгерский оркестр... Сновали хорошенькие женщины с возбуждёнными лицами, в ярких костюмах; слышался задорный, весёлый смех... Они пили вино... И всё это было так хорошо и увлекательно, что приятели незаметно просидели до 4 часов, то есть до закрытия ресторана [...].

Дома, в меблированных комнатах было так скучно, угрюмые стены давили, лампа горела тускло. А там... ослепительный свет, музыка, женщины..."

В противовес всем этим свидетельствам балерина Н. В. Труханова, начавшая путь в искусство в театре Омона, характеризовала его как место, где в труппе царили патриархальные, семейные нравы. Видимо, Ш. Омон проявлял исключительно отеческую заботу, когда с ходу предложил шестнадцатилетней красавице, только начинавшей артистическую карьеру, контракт на 500 рублей в месяц. А его помощник под тем же душевным порывом представил девушку коллегам как "будущую кабинетную звезду". Значение этого эпитета юной актрисе и её коллегам лично растолковал владелец театра:

"Мадам и месье, искусством я не интересуюсь. Первое для меня — дисциплина и система, то есть повиновение и порядок. Тут я беспощаден. Я сам им подчиняюсь и служу примером. Я не допущу, чтобы мои служащие были хуже меня самого. Второе: прошу без капризов и предрассудков. Вы начинаете работу в 7 часов вечера. Спектакль кончается в 11 с четвертью вечера. Мой ресторан и кабинеты работают до четырёх часов утра. Напоминаю, что, согласно условиям контракта, дамы не имеют права уходить домой до четырёх часов утра, хотя бы из уборной и не беспокоил. Они обязаны подыматься в ресторан, если они приглашаются моими посетителями, часто

приезжающими очень поздно. Представляю вам мою правую руку – метрдотеля Мюрата. Он-то и будет иметь с вами дело”.

По воспоминаниям Н. В. Трухановой, молва о безнравственности, царившей “у Омошки”, не имела ничего общего с действительностью. А чтобы не встать на скользкий путь за пределами заведения, ей достаточно было строго следовать наставлениям администратора театра Н. В. Морозова:

“Осуждение, позор – это всё условности и чепуха для романов. А на жизнь нужно смотреть проще. Чем страшен наш вертеп? Дурной о нём молвой? Но это и не публичный дом, что бы о нём ни говорили! За так называемой нравственностью или нравами следит полиция и зоркий глаз самого хозяина. В кабинетах на дверях нет задвижек. По коридорам снуют шпики в штатском платье. Всем нам – администраторам, хозяйкам хоров, всему персоналу – приказано строго следить как за поведением артистов, так и за поведением посетителей. Если вы по обязанности и просидите до четырёх часов утра в нашем ресторане, так это не значит, что вас могут обидеть.

Опасность состоит только в пьянстве, потому что можно спиться, а в этом случае такой, как вы, девчонке легко в два счёта и вовсе можно скатиться. Закружат вам голову, начнут соблазнять посулами, а иногда и молодостью да красотой – и крышка!.. А чем это кончается? Озолочением? Свадьбой? Да нет! Это кончается венерическими болезнями, незаконными детьми и позором. Вот она – неприкашенная правда! Вы обязательно должны вбить себе в голову, что ни при каких обстоятельствах, никогда капли алкоголя в рот не возьмёте и что, кто бы за вами ни ухаживал, вы с ним вне театра не увидите. Только тогда вы не пропадёте и станете человеком”.

Благодаря строгому надзору Н. В. Морозова и Мюрата во время любых застолий в бокал Натальи Трухановой официанты наливали только “личное шампанское” – подкрашенный чаем нарзан. Тем не менее, даже ведя трезвый образ жизни, уже через три сезона юная актриса обзавелась роскошными нарядами, а на её афишах появился титул “королева бриллиантов”.

Само же сидение в кабинетах с гостями театра, по воспоминаниям Н. В. Трухановой, представляло собой “...не только пьянство, а бесконечные российские беседы и “жратву”, которая, кстати, была превосходной.

Сам Омон любил поесть и придавал хорошей кухне весьма большое значение.

Гордость Мюрата – приготовление им прямо на глазах посетителей почек, блинчиков и бананов “флямбе” или каких-то остендских устриц “о гратин”.

Вполне возможно, что так оно и было, но наряду с этим свидетельством мемуаристики существует запись рассказа старого опытного официанта, сделанная фольклористом Е. П. Ивановым:

“У Омона Шарля, бывало, распорядитель-француз перед вечером всех, простите, девок, шансонеток соберёт и так скажет: “Девушки, маймазель, сегодня требуйте стерлядь и осетрину от гостей, у нас пять пуд протухло!” Те и требуют. Потеха-с, честное слово, потеха-с!.. Люди хорошие по вечерам съезжались, а девки всё тухлятину спрашивают (по цене-с!), поковыряют её вилочкой и велят со стола убрать. Так мы всякую дрянь продавали у Омошки. Жулик первый был, русских дураков приезжал учить!”

Эту диаметрально противоположность мнений о кухне ресторана при театре Омона вполне можно объяснить тем, что администрация потчевала посетительницей “второй свежести” не всех посетителей подряд. Во всяком случае, из мемуаров Н. В. Трухановой следует, что полицейстер И. Н. Руднев не просто благосклонно относился к театру, а подчёркивал: “Мне бы везде такой порядочек иметь, как у Омона!”

Насколько высокий полицейский чин был бескорыстен в своей оценке, теперь установить практически невозможно, зато хроника городских происшествий однозначно свидетельствует, что скандалы в театре Омона были вовсе не редкостью. Однажды сама Наталья Труханова, “восходящая звезда оперетты”, прямо за кулисами получила несколько оплеух от обиженного ею поклонника. Аналогично оценил талант артистки А. Г. Курочки купец Винокуров: подстерёг её после представления и надавал ей пощёчин. А когда она ответила поклоннику тем же, к ней подскочил некий господин Сахаров и побил её тростью. Характерно, что в полицейском участке Винокуров ещё раз ударил актрису и разорвал на ней лиф, однако она отказалась привлекать обидчиков к ответу.

Зато инженер-механик Михайлов избежать суда не смог. Перед закрытием ресторана у него возник спор с официантом: инженер утверждал, что уже расплатился, а лакей требовал за ужин сорок рублей. Для разбирательства Михайлов был приглашён в контору театра, где по какой-то случайности оказался офицер полиции. В конечном итоге посетитель всё-таки оплатил счёт, но, отстаивая свою правоту, он в запале коснулся пальцем мундира блюстителя порядка. За “оскорбление должностного лица” ему пришлось предстать перед мировым судьей. Единственное, что удалось сделать его адвокату, — это добиться признания от представителя Омона, что и раньше поступали жалобы на официантов: пользуясь опьянением гостей, они вторично требовали деньги за уже уплаченное.

В 1902 году на углу Садовой и Тверской улиц Омон выстроил новое роскошное здание театра. Несмотря на высокие цены (ложа, например, стоила 200 рублей), новое заведение было всегда заполнено публикой. Когда в 1910 году городская Дума планировала приобрести это владение для устройства “Пушкинского городского общедоступного театра”, специальная комиссия отметила после осмотра, что в зрительном зале имеется 1009 мест и 24 ложи. К тому времени Ш. Омона в Москве уже не было. Разорившись, он скрылся от кредиторов за границей, прихватив попутно 150 тысяч рублей чужих денег.

В бывшем “гнезде разврата” так и не удалось устроить просветительное учреждение. После бегства Омона в нём открылся опереточный театр “Буфф”, продолжавший развлекать москвичей представлениями в “кафешантанном” стиле. В 1912 году его владельцем стал И. С. Зон, по профессии содержатель буфета. Он перестроил здание, переименовал заведение в “Театр Зон” и, значительно улучшив эстрадную программу, превратил его в место, где собирались “сливки” московского общества. Только после Октябрьского переворота это здание было занято театром, которым руководил “комиссар театрального отдела Наркомпроса” В. Э. Мейерхольд. После проведённой в 1930-е годы реконструкции в нём располагается Концертный зал им. П. И. Чайковского.

Ещё одним популярным местом развлечений, конкурентом Омона, был театр-варьете “Максим” на Б. Дмитровке (сейчас в этом здании расположен музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко). Об этом заведении, которое его владельцы почему-то упорно называли “семейным”, упомянул в воспоминаниях И. И. Шнейдер:

“У “Максима” танцевали на светящемся полу танго; лежа на низких диванах в таинственном полумраке “восточной комнаты”, курили египетские папиросы и манильские сигары, наблюдая сытыми глазами за голыми животами баядерок, извивавшихся на ковре в “танце живота”; прихлебывали кофе по-турецки с ликёром “Бенедиктин” — изделием французских монахов. На пузатых бутылках желтели этикетки, на которых отцы-бенедиктинцы не убоились воздвигнуть крест вместо торговой марки...”

Достопримечательностью заведения был директор-распорядитель негр Томас, “сверкавший белыми зубами и большим бриллиантом на пальце”. Несмотря на явное родство с тёзкой — таким же парижским варьете, в 1913 году в “Максима” публике предлагали и “последние новости из Нью-Йорка” — “8 американских красавиц “Regtimes””.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЕ САДЫ

*Загадлит народное гулянье,
Фонари грошовые на нитках,
И на бедной, выбитой поляне
Умирать начнут кларнет и скрипка.*

Б. Ю. Поплавский

Другим наследством, доставшимся Москве от Шарля Омона, был сад “Аквариум”, находившийся там же, на Садовой улице, и носивший прежде название “Чикаго”. Омон произвёл его перепланировку, в саду были разбиты цветники, устроены тиры и кегельбаны, открыты ресторации. Электрические фонари, установленные на специальной башне высотой около 40 м, заливали светом всю территорию увеселительного заведения. По парижскому образцу

был возведён зал “Олимпия”, вмещавший 1200 зрителей (теперь на его месте находится здание театра им. Моссовета). В 1902 году он послужил местом проведения бенефиса Ш. Омона, посвящённого двенадцатой годовщине его антрепренёрского служения. Пресса сообщала, что под овации Омон был увенчан несколькими лавровыми венками и получил в качестве подношений много изделий из золота, бриллианты, несколько серебряных сервизов и другие подарки.

Сады как места общественного увеселения появились в Москве во второй половине XIX века. Их организаторы, называвшиеся тогда “содержателями”, брали в аренду городские дворянские усадьбы с парками и за небольшую входную плату предлагали публике разного рода развлечения, от выступлений оркестров и цирковых артистов до демонстрации полётов воздушных шаров.

“Садовое воздухоплавание” было занятием далеко не безопасным. В “Аквариуме” однажды при подготовке шара к полётам оборвался привязной трос, и “баллон-кантив” взмыл в небо. Руководитель аттракциона Ю. М. Древницкий, цеплявшийся за канат, воспользовался парашютом, а рабочему, оставшемуся в корзине, пришлось открыть клапаны для выпуска газа. Шар удачно приземлился на Миусской площади, а вот невольного аэронавта нашли лежащим без сознания. Он отравился светильным газом, которым была наполнена оболочка шара. Хорошо ещё, что рядом не оказалось курильщика с зажжённой папиросой, а то не миновать бы взрыва.

Одним из главных развлечений, предлагавшихся публике владельцами садов, была оперетта. Огромной популярностью среди москвичей пользовались спектакли этого жанра в саду “Эрмитаж”, содержанием которого был М. В. Лентовский (очерк о нём можно прочесть в записках В. А. Гиляровского “Москва и москвичи”).

После разорения Лентовского его бывший сотрудник Я. В. Щукин открыл в Каретном ряду сад “Новый Эрмитаж”. Работая не покладая рук — ему самому приходилось быть плотником, водопроводчиком и садовником, — хозяин сада за три года превратил замусоренный пустырь (для вывоза сора потребовалось 50 тысяч возов) в популярнейшее место развлечений.

“Щукин страстно любил этот сад, — писал в своих мемуарах актер Н. Ф. Монахов. — Надо ему отдать справедливость, он делал всё для того, чтобы этот сад производил впечатление благоустроенного. Дорожки в саду были бетонированы, для полива сада был проведён водопровод, в нескольких местах сделаны краны. Лестницы, необходимые для стрижки высоких деревьев, он приобретал за границей. Оттуда же выписывались семена всевозможных редких цветов. Щукин прощал своим служащим многое, но никому бы не простил попытку обезобразить его детище — растоптать клумбу, сорвать цветок или насорить в саду. Он совершенно нетерпимо относился ко всякому артисту, который, сидя в саду в ожидании репетиции, чертил на песке дорожки тросточкой или зонтиком. Этим его можно было довести, что называется, до белого каления. А находился он в своём саду чуть не с семи часов утра ежедневно, следя за тем, как садовники подстригали, подвязывали деревья и кусты, сажали цветы”.

О готовности Щукина ревностно защищать свой сад даже в ущерб финансовым интересам свидетельствует такой случай, рассказанный Н. Ф. Монаховым:

“В театре “Эрмитаж” должна была выступить в двух концертах после спектакля балерина Т. П. Карсавина. На назначенную репетицию она пришла значительно раньше. Войдя в сад, она села на скамеечку, сняла шляпку и, сидя на солнце, вычерчивала зонтиком какие-то линии на песке площадки. Вдруг к ней подходит человек в несуразной чесучовой куртке и в чёрном котелке и говорит:

— Это ты, милочка, что делаешь?

Щукин обращался ко всем на “ты”. Карсавина посмотрела на него с удивлением.

— Ничего особенного не делаю. Жду репетиции, — отвечала она, продолжая чертить на песке.

— Репетиция, милочка, репетицией, а порядок в саду порядком. Я, милочка, не люблю, чтобы в саду нарушали порядок.

— А мне, в сущности, наплевать, что вы любите или не любите. Я никакого порядка не нарушаю.

— Милочка, я прошу вас уйти из сада.
— Я с удовольствием ушла бы, да у меня тут репетиция... И вообще, оставьте меня в покое, у меня нет никакого желания разговаривать с вами.

Карсавина не знала, кто её собеседник.

— В таком случае, милочка, я попрошу вас вывести. — Эти слова, видимо, взбесили её.

— Попробуйте! — воскликнула она, протянула руку назад к клумбе и сорвала цветок.

Этот сорванный цветок переполнил чашу терпения Щукина. Совершенно рассвирепев, он заорал на весь сад:

— Управляющего!..

Когда управляющий явился, он приказал ему сию же минуту вывести “эту женщину” из сада и больше никогда не впускать. Когда ему указали, что это балерина Карсавина, приглашённая на два концерта, и что, если её вывести, ей всё же придётся заплатить за концерты, он воскликнул:

— Чёрт с ней, заплатите, но чтобы она больше никогда не появлялась в моём саду, раз она не умеет себя вести. Я не хочу видеть её и на сцене. Чёрт с ней и с её искусством!

Карсавиной заплатили, а концерты отменили...”

В “Эрмитаже” в 1896 году прошёл первый в Москве киносеанс. Два года спустя там же состоялось официальное открытие Художественного общедоступного театра под руководством К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Однако драматическое искусство в увеселительных садах было явлением временным.

Основную часть представлений, демонстрировавшихся в “садовых” театрах, составляли оперетки и фарсы с каким-нибудь завлекающим названием, вроде “Пупсика” или “Принцессы долларов”. И. И. Шнейдер вспоминал, что однажды ему пришлось писать фарсовое обозрение “на злобы дня”, в котором освещались новые достижения городской Думы в благоустройстве Москвы — разбивка розариума и устройство общественных туалетов:

“Должно быть, язвительная тень Салтыкова-Щедрина натолкнула организаторов на мысль объединить эти душистые мероприятия, потому что два входа в подземные ватерклозеты возвысились среди расцветших роз, подавляя их аромат совсем иным запахом. [...] Второй акт шёл под сплошным дождём, с зонтиками в руках персонажей обозрения, так как действие происходило в только что построенных первых тоннелях Курского вокзала, пропускавших сплошные потоки подпочвенных вод”.

В саду “Эрмитаж” в 1910 году москвичи впервые познакомились с такой диковиной, как женская борьба. В стихотворном фельетоне этот “международный чемпионат с призом в 500 рублей” получил, в частности, такую характеристику:

*Ну, нет! И женская борьба
Имеет шансы кой-какие...
Конечно, женщина — слаба;
Её приемы боевые
Сравнить с мужскими нелегко —
Нет величавости в картине...
Зато атласное трико
Идёт к ней больше,
Чем к мужчине.*

А вот схватки мужчин-борцов в то время можно было наблюдать... в Зоологическом саду. Не подумайте, что “Международный чемпионат по французской борьбе” проходил в клетках со зверями — для развлечения публики на территории Зоосада имелось здание театра. В нём в течение всего лета под рукоплескание зрителей сходились на ковре “великан серб Савва Райкович” и “ярославец Переяславцев”, сражались “дикий испанец Хуан Альварец” и “татарский князь Сандаров”, а голландец Ван-дер-Берг “приёмом “обратный пояс” укладывал на лопатки еврейского чемпиона Мойшу Слуцкого”.

Заодно отметим, что с таким “бойцовым” зрелищем, как бокс, москвичи впервые познакомились в январе 1914 года во “Дворце спорта”, располагав-

шемся на Земляном валу. “Несмотря на трескучий мороз и дальнейшее расстояние, — сообщал автор заметки “Легализованное мордобитие”, — любителей английского бокса в скейтинг-ринге (к числу модных развлечений “золотой молодёжи” того времени относилось катание на роликовых коньках на арене “Дворца спорта”. — Авт.) собралось порядочно. К 12 часам все столики во “Дворце спорта” вокруг “арены” заняты.

Перед началом матча какой-то молодой человек долго и невнятно объясняет публике сущность правильных и неправильных приёмов. Наконец, начинаются поединки.

Зрители режут от удовольствия. Очевидно, дух кулачных бойцов ещё живёт в москвичах. Во время схватки слышатся горячие советы, за бойцов держат пари. [...]

Три звёздочки не явились, как объяснил директор, и хорошо сделали: всё-таки меньше было бы этого дикого зрелища”.

Возвращаясь в Зоологический сад, отметим, что в зимнее время в нём, кроме катка, публике предлагали такое развлечение, как “живая этнография” — демонстрация представителей народов Севера. Нанятые антрепренёрами, они прибывали в Москву сразу несколькими семействами, со всем скарбом и оленями, ставили на территории Зоосада свои чумы, катали желеющих на нартах. Иногда Первопрестольная была для них лишь промежуточным пунктом перед поездкой в Европу, например, на Всемирную выставку в Париж.

В 1914 году в Зоологическом саду гастролировали “самоеды” (ненцы) и “зыряне” (коми). Встреча с ними осталась в памяти Наталии Гершензон:

“В одно из наших посещений мы увидели там на свободной площадке большую юрту самоедов (теперь — ненцы). В ней помещалась семья — отец, мать и дети. Я всё сразу поняла и оценила, как следует. Никогда не забуду злобных и мрачных лиц этих людей”.

Что же касается общего состояния Зоологического сада как места отдыха, то летом москвичи были от него далеко не в восторге:

“Грустное зрелище представляет в жаркий летний день наш Зоологический сад. Казалось бы, громадный пруд, масса зелени могли бы дать обывателю возможность перевести дух после раскалённой атмосферы улиц. Увы, от давно не чищенного пруда несёт тяжёлым, затхлым дыханием болота. Прохлады от зелени почти не чувствуется из-за чисто уличных запахов от раскалённых железа и камней, от отбросов животных, от множества мусорных куч.

Горькое чувство вызывает эта картина запустения по сравнению с зоологическими садами Берлина и Парижа. Там они бесплатные и поучительное место гуляния. Много зелени, прекрасные газоны, цветники. У нас же за довольно высокую входную плату публике предоставляется глотать пыль, дышать болотом и обозреть чуть не наполовину пустые клетки животных.

За последнее время сад обогатился серьёзным научным учреждением. Но администрации сада за специальными задачами не следовало бы забывать о прямом назначении последнего — популяризации природоведения в области животного царства. А теперь сад постепенно застраивается и научными, и ресторанными зданиями. Негде погулять и нечего посмотреть, если не считать вечерних развлечений, ничего общего с природоведением не имеющих”.

К этому стоит добавить, что Зоосад особенно пришёл в упадок в период 1903 — марта 1904 годов, когда его арендатором был антрепренёр И. А. Антушевич. Он широко практиковал неплатёж жалованья артистам, оркестру, а затем дело дошло и до служителей. При нём, как отмечал современник, “живой инвентарь сада стал уменьшаться, корм животным стал даваться не в должном количестве и несвоевременно, ремонта совсем не производилось”.

Известный учёный профессор Н. Ю. Зограф выступил в защиту Зоологического сада. В опубликованном в газетах письме он доказывал, что Общество акклиматизации животных и растений, которому принадлежит Зоосад, делает всё, что может, для поддержания его в порядке. Например, большая аллея с дорожками от входа до театра “вся обсажена и обстроена вновь”.

“Несчастный пруд сада, — пояснял профессор, — пахнет тинной, благодаря небывалым жарам в мае. Управление сада хотело его очистить, но за это требуют 80 000 рублей! Да и в пользу ли дела пойдёт эта очистка? Пруд слугит стоком нечистот со всего околотка в дождливое время; те два-три ключа, которые текут в него, имеют воду столь чистую, что довольно прибавления

самого малого количества азотнокислого серебра, чтобы обнаружить громадные количества органических примесей; речка Синичка, протекающая по трубе в саду, зовётся, благодаря её благоуханию, местным населением именем, неудобным в печати. Она течёт откуда-то издалека, и по ней временами приплывают, особенно во времена бегов и скачек, целые массы отбросов, особенно заметных по громадному количеству винных и пивных пробок”.

Именно из-за недостатка денег, отмечал Зограф, в театре Зоологического сада идут пьесы лёгкого жанра и проводится борьба. Пробовали от этого отказаться и обойтись одним оркестром – публика переставала ходить. Что же касается субсидий от правительства, то “они даются в десять раз меньше, чем требуются садом, и от городского управления – в сто раз меньшие! Да и то не всегда”.

Некорректно, по мнению профессора, и сравнение московского зоосада с заграничными. Так, берлинский, прежде всего, живёт за счёт доходов с трёхмиллиардного акционерного капитала, не считая принадлежавших ему облигаций. “В берлинском купечестве, – подчёркивал Николай Юрьевич, – быть акционером зоологического сада – значит быть почётным лицом, меценатом, который не боится не получить процентов или получить 1,3% вместо пяти на свои деньги. В Париже Jardin d’Acclimatation умирает, превратившись в *cafe-chantant*, Jardin des Plantes – сад казённый, и теперешние деятели акклиматизационного общества собирают капитал в 2 000 000 франков для образования нового сада в Версале, но сада бесплатного. “Сделайте его платным, – говорил мне профессор Луазель, – и вы получите у нас *cafe-chantant*”.

Конечно же, большинство москвичей совсем не собирались вникать в такие тонкости – сады их интересовали как места приятного времяпрепровождения. Вот как в описании современника выглядело посещение москвичом увеселительного сада в начале XX века:

“Миновав кассу, где ему оставлено кресло, московский прожигатель жизни бодро идёт по дорожкам сада, и лицо его расплывается в улыбку при встрече со знакомыми. Быстрое пожатие руки, обмен несколькими фразами, последние городские сплетни и новая прощальная улыбка.

Толпа двигается по кругу, нарядная, весёлая, изобилующая массой интересных женских лиц, которых и не встретишь днём на улицах. Модные плоские шляпки, из-под которых горят задорно глазки, изящные накидки, разноцветные платья – всё это останавливает на себе внимание, но времени терять нельзя, потому что звонок призывает в зал. Там, на сцене, ярко залитой электрическим светом, звучит весёлая, чуть-чуть фривольная, балансирующая между дозволенным и запрещённым шансонетка, бойким темпом идёт фарс или оперетка. Смех перебегает в толпе и иногда раздражается целыми бурями, заглушаемыми взрывом аплодисментов.

– Браво! Бис! – кричат из первых рядов какой-нибудь приезжей знаменитости.

– Восторг, как она удивительно передаёт!

– Просто прелесть, так тонко, изящно!

– Шансонетка, господа, – философствует какой-то господин, – имеет громадное общественное значение. Это факт!

– Ну, пошёл! Какое это значение?

– В наше время усталости и переутомления она подвинчивает нервы...

– Бог с ними, с нервами, а вот не отужинать ли нам после второго отделения?

Пужинать все, конечно, согласны, но когда обсуждается вопрос где, то здесь голоса разделяются. Одни предпочитают совершить это здесь, в саду, за маленькими столиками, на свежем воздухе...

– Всё-таки не ехать никуда, – говорят они, – а то за город далеко, засидишься!...

– Полноте! – смеются им в ответ. – Так вы здесь и кончите – всё равно не выдержите!

– А пожалуй что!

И через час-другой, когда второе отделение закончилось под общий гомон и шум оркестра, за город несутся лихачи и пары. Мелькает прямая, как стрела, Тверская-Ямская с величавой Триумфальной аркой и красивым зданием Смоленского вокзала, перелетает экипаж через рельсы соединительных путей и несётся по шоссе. На горизонте ярким заревом горит “Яр”.

Но прежде чем отправиться следом за нашими героями, заглянем напоследок в ещё один московский сад. Он не удостоился упоминания в энциклопедиях, поскольку не снискал славы “Аквариума” или “Эрмитажа”. Газетный репортёр так и написал о нем: “Очень немногие имеют понятие, что представляет собой пресловутый Потешный сад”. Тем не менее, он тоже был частью былой московской жизни, и, думаем, для полноты её картины стоит привести описание и этого места отдыха от повседневных забот:

“Плата за вход довольно низкая – 35 копеек, тем более что за эти 35 копеек “развлечений” хоть отбавляй: и полуоткрытый театр, в котором идут драмы вроде “Мирры Эрос”, “Падших” и даже “Кривого зеркала”, и открытая сцена с куплетистами и хором, танцы и даже бильярды. По-видимому, это последнее “развлечение” является немаловажным плюсом Потешного сада, так как плакатами с надписью крупными буквами: “Есть бильярды – игра до 3 1/2 час. ночи” пестрят стены буфета и вообще все стены, имеющиеся в наличии.

Иду в бильярдную... Там полно, но... оба бильярда не у дел: публика толпится в одном углу. Разгоряченные лица, блестящие глаза – атмосфера клубов с “железкой” или бегов, когда “режутся по прямой”... В этом “райском” уголке приютился китайский бильярд. Покатая доска с номерами и насаженными на доски булавками. Маленьким кием пускают шарик, который начинает скакать от одной булавки к другой. Смею уверить, что шаловливый шарик, прыгающий между булавками к своему номеру, волнует нервы ничуть не меньше шарика рулетки. Если играют 8 человек, то в пользу маркёра отчисляется за каждую партию, – которая, к слову сказать, продолжается не более 5–7 минут, – 15 коп., если больше – 20 коп. Завязываются пари, причём ставка от 10 коп. до 3 руб. Приходится слышать фразы: “Я проиграл 13 руб.”. “А я – 15” и т. д. [...]

Публика Потешного сада состоит из мелких приказчиков, ремесленников, а главным образом – рабочих железнодорожных мастерских, так как сад расположен близ Курского вокзала. И этот-то народ проигрывает свой недельный заработок. К этому безразлично относиться невозможно. Средние и высшие классы стараются оградить от азарта, а среди низших классов он свивает гнездо, по-видимому, совершенно открыто”.

(Продолжение следует)